# Университетская поэма

***1
«Итак, вы русский? Я впервые
встречаю русского…» Живые,
слегка навыкате, глаза
меня разглядывают: «К чаю
лимон вы любите, я знаю;
у вас бывают образа
и самовары, знаю тоже!»
Она мила: по нежной коже
румянец Англии разлит.
Смеется, быстро говорит:
«Наш город скучен, между нами,—
но речка — прелесть!.. Вы гребец?»
Крупна, с покатыми плечами,
большие руки без колец.
2
Так у викария за чаем
мы, познакомившись, болтаем,
и я старательно острю,
и не без сладостной тревоги
на эти скрещенные ноги
и губы яркие смотрю,
и снова отвожу поспешно
нескромный взгляд. Она, конечно,
явилась с теткою, но та
социализмом занята,—
и, возражая ей, викарий,—
мужчина кроткий, с кадыком,—
скосил по-песьи глаз свой карий
и нервным давится смешком.
3
Чай крепче мюнхенского пива.
Туманно в комнате. Лениво
в камине слабый огонек
блестит, как бабочка на камне.
Но засиделся я,— пора мне…
Встаю, кивок, еще кивок,
прощаюсь я, руки не тыча,—
так здешний требует обычай,—
сбегаю вниз через ступень
и выхожу. Февральский день,
и с неба вот уж две недели
непрекращающийся ток.
Неужто скучен в самом деле
студентов древний городок?
4
Дома,— один другого краше,—
чью старость розовую наши
велосипеды веселят;
ворота колледжей, где в нише
епископ каменный, а выше —
как солнце, черный циферблат;
фонтаны, гулкие прохлады,
и переулки, и ограды
в чугунных розах и шипах,
через которые впотьмах
перелезать совсем не просто;
кабак — и тут же антиквар,
и рядом с плитами погоста
живой на площади базар.
5
Там мяса розовые глыбы;
сырая вонь блестящей рыбы;
ножи; кастрюли; пиджаки
из гардеробов безымянных;
отдельно, в положеньях странных
кривые книжные лотки
застыли, ждут, как будто спрятав
тьму алхимических трактатов;
однажды эту дребедень
перебирая,— в зимний день,
когда, изгнанника печаля,
шел снег, как в русском городке,—
нашел я Пушкина и Даля
на заколдованном лотке.
6
За этой площадью щербатой
кинематограф, и туда-то
по вечерам мы в глубину
туманной дали заходили,—
где мчались кони в клубах пыли
по световому полотну,
волшебно зрителя волнуя;
где силуэтом поцелуя
все завершалось в должный срок;
где добродетельный урок
всегда в трагедию был вкраплен;
где семенил, носками врозь,
смешной и трогательный Чаплин;
где и зевать нам довелось.
7
И снова — улочки кривые,
ворот громады вековые,—
а в самом сердце городка
цирюльня есть, где брился Ньютон,
и древней тайною окутан
трактирчик «Синего Быка».
А там, за речкой, за домами,
дерн, утрамбованный веками,
темно-зеленые ковры
для человеческой игры,
и звук удара деревянный
в холодном воздухе. Таков
был мир, в который я нежданно
упал из русских облаков.
8
Я по утрам, вскочив с постели,
летел на лекцию; свистели
концы плаща,— и наконец
стихало все в холодноватом
амфитеатре, и анатом
всходил на кафедру,— мудрец
с пустыми детскими глазами;
и разноцветными мелками
узор японский он чертил
переплетающихся жил
или коробку черепную;
чертил,— и шуточку нет-нет
да и отпустит озорную,—
и все мы топали в ответ.
9
Обедать. В царственной столовой
портрет был Генриха Восьмого —
тугие икры, борода —
работы пышного Гольбайна;
в столовой той, необычайно
высокой, с хо’рами, всегда
бывало темновато, даром,
что фиолетовым пожаром
от окон веяло цветных.
Нагие скамьи вдоль нагих
столов тянулись. Там сидели
мы в черных конусах плащей
и переперченные ели
супы из вялых овощей.
10
А жил я в комнате старинной,
но в тишине ее пустынной
тенями мало дорожил.
Держа московского медведя,
боксеров жалуя и бредя
красой Италии, тут жил
студентом Байрон хромоногий.
Я вспоминал его тревоги,—
как Геллеспонт он переплыл,
чтоб похудеть. Но я остыл
к его твореньям… Да простится
неромантичности моей,—
мне розы мраморные Китса
всех бутафорских бурь милей.
11
Но о стихах мне было вредно
в те годы думать. Винтик медный
вращать, чтоб в капельках воды,
сияя, мир явился малый,—
вот это день мой занимало.
Люблю я мирные ряды
лабораторных ламп зеленых,
и пестроту таблиц мудреных,
и блеск приборов колдовской.
И углубляться день-деньской
в колодец светлый микроскопа
ты не мешала мне совсем,
тоскующая Каллиопа [1],
тоска неконченых поэм.
12
Зато другое отвлекало:
вдруг что-то в памяти мелькало,
как бы не в фокусе,— потом
ясней, и снова пропадало.
Тогда мне вдруг надоедало
иглой работать и винтом,
мерцанье наблюдать в узоре
однообразных инфузорий,
кишки разматывать в уже;
лаборатория уже
мне больше не казалась раем;
я начинал воображать,
как у викария за чаем
мы с нею встретимся опять.
13
Так! Фокус найден. Вижу ясно.
Вот он, каштаново-атласный
переливающийся лоск
прически, и немного грубый
рисунок губ, и эти губы,
как будто ярко-красный воск
в мельчайших трещинках. Прикрыла
глаза от дыма, докурила,
и, жмурясь, тычет золотым
окурком в пепельницу… Дым
сейчас рассеется, и станут
мигать ресницы, и в упор
глаза играющие глянут
и, первый, опущу я взор.
14
Не шло ей имя Виолета,
(вернее: Вийолет, но это
едва ли мы произнесем).
С фиалкой [2] не было в ней сходства,—
напротив: ярко, до уродства,
глаза блестели, и на всем
подолгу, радостно и важно
взор останавливался влажный,
и странно ширились зрачки…
Но речи, быстры и легки,
не соответствовали взору,—
и доверять не знал я сам
чему — пустому разговору
или значительным глазам…
15
Но знал: предельного расцвета
в тот год достигла Виолета,—
а что могла ей принести
британской барышни свобода?
Осталось ей всего три года
до тридцати, до тридцати…
А сколько тщетных увлечений,—
и все они прошли, как тени,—
и Джим, футбольный чемпион,
и Джо мечтательный, и Джон,
герой угрюмый интеграла…
Она лукавила, влекла,
в любовь воздушную играла,
а сердцем большего ждала.
16
Но день приходит неминучий;
он уезжает, друг летучий:
оплачен счет, экзамен сдан,
ракета теннисная в раме,—
и вот блестящими замками,
набитый, щелкнул чемодан.
Он уезжает. Из передней
выносят вещи. Стук последний,—
и тронулся автомобиль.
Она вослед глядит на пыль:
ну что ж — опять фаты венчальной
напрасно призрак снился ей…
Пустая улочка, и дальний
звук перебора скоростей…
17
От инфлуэнции презренной
ее отец, судья почтенный,
знаток портвейна, балагур,
недавно умер. Виолета
жила у тетки. Дама эта
одна из тех ученых дур,
какими Англия богата,—
была в отличие от брата
высокомерна и худа,
ходила с тросточкой всегда,
читала лекции рабочим,
культуры чтила идеал
и полагала, между прочим,
что Харьков — русский генерал.
18
С ней Виолета не бранилась,—
порой могла бы, но ленилась,—
в благополучной тишине
жила, о мире мало зная,
отца все реже вспоминая,
не помня матери (но мне
о ней альбомы рассказали,—
о временах осиных талий,
горизонтальных канотье.
Последний снимок: на скамье
она сидит; по юбке длинной
стекают тени на песок;
скромна горжетка, взор невинный,
в руке крокетный молоток).
19
Я приглашен был раза два-три
в их дом радушный, да в театре
раз очутилась невзначай
со мною рядом Виолета.
(Студенты ставили Гамлета,
и в этот день был рай не в рай
великой тени барда.) Чаще
мы с ней встречались на кричащей
вечерней улице, когда
снует газетчиков орда,
гортанно вести выкликая.
Она гуляла в этот час.
Два слова, шуточка пустая,
великолепье темных глаз.
20
Но вот однажды, помню живо,
в начале марта, в день дождливый,
мы на футбольном были с ней
соревнованьи. Понемногу
росла толпа,— отдавит ногу,
пихнет в плечо,— и все тесней
многоголовое кишенье.
С самим собою в соглашенье
я молчаливое вошел:
как только грянет первый гол,
я трону руку Виолеты.
Меж тем, в короткие портки,
в фуфайки пестрые одеты,—
уж побежали игроки.
21
Обычный зритель: из-под кепки
губа брезгливая и крепкий
дымок Виргинии. Но вдруг
разжал он губы, трубку вынул,
еще минута — рот разинул,
еще — и воет. Сотни рук
взвились, победу понукая:
игрок искусный, мяч толкая,
вдоль поля ласточкой стрельнул,—
навстречу двое,— он вильнул,
прорвался,— чистая работа,—
и на бегу издалека
дубленый мяч кладет в ворота
ударом меткого носка.
22
И тихо протянул я руку,
доверясь внутреннему стуку,
мне повторяющему: тронь…
Я тронул. Я собрался даже
пригнуться, зашептать… Она же
непотеплевшую ладонь
освободила молчаливо,
и прозвучал ее шутливый,
всегдашний голос, легкий смех:
«Вон тот играет хуже всех,—
все время падает, бедняга…»
Дождь моросил едва-едва;
мы возвращались вдоль оврага,
где прела черная листва.
23
Домой. С гербами на фронтонах
большое здание, в зеленых
просветах внутренних дворов.
Там тихо было. Там в суровой
(уже описанной) столовой
был штат лакеев-стариков.
Там у ворот швейцар был зоркий.
Существовала для уборки
глухой студенческой норы
там с незапамятной поры
старушек мелкая порода;
одна ходила и ко мне
сбивать метелкой пыль с комода
и с этажерок на стене.
24
И с этим образом расстаться
мне трудно. В памяти хранятся
ее мышиные шажки,
смешная траурная шляпка,—
в какой, быть может, и прабабка
ее ходила,— волоски
на подбородке… Утром рано
из желтоватого тумана
она беззвучно, в черном вся,
придет и, щепки принеся,
согнется куклою тряпичной
перед холодным очагом,
наложит кокс рукой привычной
и снизу чиркнет огоньком.
25
И этот образ так тревожит,
так бередит меня… Быть может,
в табачной лавочке отца
во дни Виктории [3], бывало,
она румянцем волновала
в жилетах клетчатых сердца —
сердца студентов долговязых…
Когда играет в темных вязах
звук драгоценный соловья,
ее встречал такой, как я,
и с этой девочкой веселой
сирень персидскую ломал;
к ее склоненной шее голой
в смятенье губы прижимал.
26
Воображенье дальше мчится:
ночь… лампа на столе… не спится
больному старику… застыл,
ночной подслушивает шепот:
отменно важный начат опыт
в лаборатории… нет сил…
Она приходит в час урочный,
поднимет с полу сор полночный —
окурки, ржавое перо;
из спальни вынесет ведро.
Профессор стар. Он очень скоро
умрет, и он давно забыл
душистый табачок, который
во дни Виктории курил.
27
Ушла. Прикрыла дверь без стука…
пылают угли. Вечер. Скука.
И, оглушенный тишиной,
я с кексом в родинках изюма
пью чай, бездействуя угрюмо.
В камине ласковый, ручной,
огонь стоит на задних лапах,
и от тепла шершавый запах
увядшей мебели слышней
в старинной комнатке моей.
Горящей кочергою ямки
в шипящей выжигать стене,
играть с самим с собою в дамки,
читать, писать,— что делать мне?
28
Отставя чайничек кургузый,
родной словарь беру — и с музой,
моею вялой госпожой,
читаю в тягостной истоме
и нахожу в последнем томе
меж «хананыгой» и «ханжой»
«хандра: тоска, унынье, скука;
сплин, ипохондрия». А ну-ка
стихотворенье сочиню…
Так час-другой, лицом к огню,
сижу я, рифмы подбирая,
о Виолете позабыв,—
и вот, как музыка из рая,
звучит курантов перелив.
29
Открыв окно, курантам внемлю:
перекрестили на ночь землю
святые ноты четвертей,
и бьют часы на башне дальней,
считает башня, и печальней
вдали другая вторит ей.
На тяжелеющие зданья
по складкам мантия молчанья
спадает. Вслушиваюсь я,—
умолкло все. Душа моя
уже к безмолвию привыкла,—
как вдруг, со смехом громовым
взмывает ветер мотоцикла
по переулкам неживым!
30
С тех пор душой живу я шире:
в те годы понял я, что в мире
пред Богом звуки все равны.
В том городке под сенью Башен
был грохот жизни бесшабашен,
и смесь хмельная старины
и настоящего живого
мне впрок пошла: душа готова
всем любоваться под луной,
и стариной, и новизной.
Но я в разладе с лунным светом,
я избегаю тосковать…
Не дай мне, Боже, стать поэтом,
земное сдуру прозевать!
31
Нет! Я за книгой в кресле сонном
перед камином озаренным
не пропустил, тоскуя зря,
весны прелестного вступленья.
Довольно угли и поленья
совать в камин — до октября.
Вот настежь небеса открыты,
вот первый крокус глянцевитый,
как гриб, сквозь мураву пророс,
и завтра, без обильных слез,
без сумасшедшего напева,
придет, усядется она,—
совсем воспитанная дева,
совсем не русская весна.
32
И вот пришла. Прозрачней, выше
курантов музыка, и в нише
епископ каменный сдает
квартиры ласточкам. И гулко
дудя в пролете переулка,
машина всякая снует.
Шумит фонтан, цветет ограда.
Лоун-теннис — белая отрада —
сменяет буйственный футбол:
в штанах фланелевых пошел
весь мир играть. В те дни кончался
последний курс — девятый вал,
и с Виолетой я встречался
и Виолету целовал.
33
Как в первый раз она метнулась
в моих объятьях,— ужаснулась,
мне в плечи руки уперев,
и как безумно и уныло
глаза глядели! Это было
не удивленье и не гнев,
не девичий испуг условный…
Но я не понял… Помню ровный,
остриженный по моде сад,
шесть белых мячиков и ряд
больших кустов рододендрона;
я помню, пламенный игрок,
площадку твердого газона
в чертах и с сеткой поперек.
34
Она лениво — значит, скверно —
играла; не летала серной,
как легконогая Ленглен [4].
Ах, признаюсь, люблю я, други,
на всем разбеге взмах упругий
богини в платье до колен!
Подбросить мяч, назад согнуться,
молниеносно развернуться,
и струнной плоскостью сплеча
скользнуть по темени мяча,
и, ринувшись, ответ свистящий
уничтожительно прервать,—
на свете нет забавы слаще…
В раю мы будем в мяч играть.
35
Стоял у речки дом кирпичный:
плющом, глицинией обычной
стена меж окон обвита.
Но кроме плюшевой гостиной,
где я запомнил три картины:
одна — Мария у Креста,
другая — ловчий в красном фраке,
и третья — спящие собаки,—
я комнат дома не видал.
Камин и бронзовый шандал
еще, пожалуй, я отмечу,
и пианолу под чехлом,
и ног нечаянную встречу
под чайным чопорным столом.
36
Она смирилась очень скоро…
Уж я не чувствовал укора
в ее послушности. Весну
сменило незаметно лето.
В полях блуждаем с Виолетой:
под черной тучей глубину
закат, бывало, разрумянит,—
и так в Россию вдруг потянет,
обдаст всю душу тошный жар,—
особенно, когда комар
над ухом пропоет, в безмолвный
вечерний час,— и ноет грудь
от запаха черемух. Полно,
я возвращусь когда-нибудь.
37
В такие дни, с такою ленью
не до науки. К сожаленью,
экзамен нудит, хошь не хошь.
Мы поработаем, пожалуй…
Но книга — словно хлеб лежалый,
суха, тверда — не разгрызешь.
Мы и не то одолевали…
И вот верчусь средь вакханалий
названий, в оргиях систем,
и вспоминаю вместе с тем,
какую лодочник знакомый
мне шлюпку обещал вчера,
и недочитанные томы —
хлоп, и на полочку. Пора!
38
К реке воскресной, многолюдной
местами сходит изумрудный
геометрический газон,
а то нависнет арка: тесен
под нею путь — потемки, плесень.
В густую воду с двух сторон
вросли готические стены.
Как неземные гобелены,
цветут каштаны над мостом,
и плющ на камне вековом
тузами пиковыми жмется,—
и дальше, узкой полосой,
река вдоль стен и башен вьется
с венецианскою ленцой.
39
Плоты, пироги да байдарки;
там граммофон, тут зонтик яркий;
и осыпаются цветы
на зеленеющую воду.
Любовь, дремота, тьма народу,
и под старинные мосты,
сквозь их прохладные овалы,
как сон блестящий и усталый,
все это медленно течет,
переливается,— и вот
уводит тайная излука
в затон черемухи глухой,
где нет ни отсвета, ни звука,
где двое в лодке под ольхой.
40
Вино, холодные котлеты,
подушки, лепет Виолеты;
легко дышал ленивый стан,
охвачен шелковою вязкой;
лицо, не тронутое краской,
пылало. Розовый каштан
цвел над ольшаником высоко,
и ветерок играл осокой,
по лодке шарил, чуть трепал
юмористический журнал;
и в шею трепетную, в дужку
я целовал ее, смеясь.
Смотрю: на яркую подушку
она в раздумье оперлась.
41
Перевернула лист журнала
и взгляд как будто задержала,
но взгляд был темен и тягуч:
она не видела страницы…
Вдруг из-под дрогнувшей ресницы
блестящий вылупился луч,
и по щеке румяно-смуглой,
играя, покатился круглый
алмаз… «О чем же вы, о чем,
скажите мне?» Она плечом
пожала и небрежно стерла
блистанье той слезы немой,
и тихим смехом вздулось горло:
«Сама не знаю, милый мой…»
42
Текли часы. Туман закатный
спустился. Вдалеке невнятно
пропел на пастбище рожок.
Налетом сумеречно-мглистым
покрылся мир, и я в слоистом,
цветном фонарике зажег
свечу, и тихо мы поплыли
в туман,— где плакала не ты ли,
Офелия, иль то была
лишь граммофонная игла?
В тумане звук неизъяснимый
все ближе, и, плеснув слегка,
тень лодки проходила мимо,
алела капля огонька.
43
И может быть, не Виолета,—
другая, и в другое лето,
в другую ночь плывет со мной…
Ты здесь, и не было разлуки,
ты здесь, и протянула руки,
и в смутной тишине ночной
меня ты полюбила снова,
с тобой средь марева речного
я счастья наконец достиг…
Но, слава Богу, в этот миг
стремленье грезы невозможной
звук речи а’нглийской прервал:
«Вот пристань, милый. Осторожно».
Я затабанил и пристал.
44
Там на скамье мы посидели…
«Ах, Виолета, неужели
вам спать пора?» И заблистав
преувеличенно глазами,
она в ответ: «Судите сами,—
одиннадцать часов»,— и встав,
в последний раз мне позволяет
себя обнять. И поправляет
прическу: «Я дойду одна.
Прощайте». Снова холодна,
печальна, чем-то недовольна,—
не разберешь… Но счастлив я:
меня подхватывает вольно
восторг ночного бытия.
45
Я шел домой, пьянея в тесных
объятьях улочек прелестных,—
и так душа была полна,
и слов была такая скудность!
Кругом — безмолвие, безлюдность
и, разумеется, луна.
И блики на панели гладкой
давя резиновою пяткой,
я шел и пел «Алла верды»,
не чуя близости беды…
Предупредительно и хмуро
из-под невидимых ворот
внезапно выросли фигуры
трех неприятнейших господ.
46
Глава их — ментор наш упорный:
осанка, мантия и черный
квадрат покрышки головной,—
весь вид его — укор мне строгий.
Два молодца — его бульдоги —
с боков стоят, следят за мной.
Они на сыщиков похожи,
но и на факельщиков тоже:
крепки, мордасты, в сюртуках,
в цилиндрах. Если же впотьмах
их жертва в бегство обратится,
спасет едва ли темнота,—
такая злая в них таится
выносливость и быстрота.
47
И тихо помянул я черта…
Увы, я был одет для спорта,
а ночью требуется тут
(смотри такой-то пункт статута)
ходить в плаще. Еще минута,
ко мне все трое подойдут,
и средний взгляд мой взглядом встретит,
и спросит имя, и отметит,—
«спасибо» вежливо сказав;
а завтра — выговор и штраф.
Я замер. Свет белесый падал
на их бесстрастные черты.
Надвинулись… И тут я задал,
как говорится, лататы.
48
Луна… Погоня… Сон безумный…
Бегу, шарахаюсь бесшумно:
то на меня из тупика
цилиндра призрак выбегает,
то тьма плащом меня пугает,
то словно тянется рука
в перчатке черной… Мимо, мимо…
И все луною одержимо,
все исковеркано кругом…
И вот стремительным прыжком
окончил я побег бесславный,
во двор коллегии пролез,
куда не вхож ни ангел плавный,
ни изворотливейший бес.
49
Я запыхался… Сердце бьется…
И ночь томит, лениво льется…
И в холодок моих простынь
вступаю только в час рассвета,
и ты мне снишься, Виолета,
что просишь будто: «Плащ накинь…
не тот, не тот… он слишком узкий…»
Мне снится, что с тобой по-русски
мы говорим, и я во сне
с тобой на ты,— и снится мне,
что, будто принесла ты щепки,
ломаешь их, в камин кладешь…
Ползи, ползи, огонь нецепкий,—
ужели дымом изойдешь?
50
Я поздно встал, проспал занятья…
Старушка чистила мне платье:
под щеткой — пуговицы стук.
Оделся, покурил немного;
зевая, в клуб Единорога
пошел позавтракать,— и вдруг
встречаю Джонсона у входа!
Мы не видались с ним полгода—
с тех пор, как он экзамен сдал.
— «С приездом, вот не ожидал!»
— «Я ненадолго, до субботы,
мне нужно только разный хлам —
мои последние работы —
представить здешним мудрецам».
51
За столик сели мы. Закуски
и разговор о том, что русский
прожить не может без икры;
потом — изгиб форели синей,
и разговор о том, кто ныне
стал мастер теннисной игры;
за этим — спор довольно скучный
о стачке, и пирог воздушный.
Когда же, мигом разыграв
бутылку дружеского Грав,
за обольстительное Асти
мы деловито принялись,—
о пустоте сердечной страсти
пустые толки начались.
52
«— Любовь…» — и он вздохнул протяжно:
«Да, я любил… Кого — неважно;
но только минула весна,
я замечаю,— плохо дело;
воображенье охладело,
мне опостылела она».
Со мной он чокнулся уныло
и продолжал: «Ужасно было…
Вы к ней нагнетесь, например,
и глаз, как, скажем, Гулливер,
гуляющий по великанше,
увидит борозды, бугры
на том, что нравилось вам раньше,
что отвращает с той поры…»
53
Он замолчал. Мы вышли вместе
из клуба. Говоря по чести,
я был чуть с мухой, и домой
хотелось. Солнце жгло. Сверкали
деревья. Молча мы шагали,—
как вдруг угрюмый спутник мой,—
на улице Святого Духа —
мне локоть сжал и молвил сухо:
«Я вам рассказывал сейчас… —
Смотрите, вот она, как раз..»
И шла навстречу Виолета,
великолепна, весела,
в потоке солнечного света,
и улыбнулась, и прошла.
54
В каком-то раздраженье тайном
с моим приятелем случайным
я распрощался. Хмель пропал.
Так; поваландался, и баста!
Я стал работать,— как не часто
работал, днями утопал,
ероша волосы, в науке,
и с Виолетою разлуки
не замечал; и, наконец,
(как напрягается гребец
у приближающейся цели)
уже я ночи напролет
зубрил учебники в постели,
к вискам прикладывая лед.
55
И началось. Экзамен длился
пять жарких дней. Так накалился
от солнца тягостного зал,
что даже обморока случай
произошел, и вид падучей
сосед мой справа показал
во избежание провала.
И кончилось. Поцеловала
счастливцев Альма Матер в лоб;
убрал я книги, микроскоп,—
и вспомнил вдруг о Виолете,
и удивился я тогда:
как бы таинственных столетий
нас разделила череда.
56
И я уже шатун свободный,
душою легкой и голодной
в другие улетал края,—
в знакомый порт, и там в конторе
вербует равнодушно море
простых бродяг, таких, как я.
Уже я прожил все богатства:
портрет известного аббатства [5]
всего в двух копиях упас.
И в ночь последнюю — у нас
был на газоне, посредине
венецианского двора,
обычный бал, и в серпантине
мы проскользили до утра.
57
Двор окружает галерея.
Во мраке синем розовея,
горят гирлянды фонарей —
Эола легкие качели.
Вот музыканты загремели —
пять черных яростных теней
в румяной раковине света.
Однако где же Виолета?
Вдруг вижу: вот стоит она,
вся фонарем озарена,
меж двух колонн, как на подмостках.
И что-то подошло к концу…
Ей это платье в черных блестках,
быть может, не было к лицу.
58
Прикосновеньем не волнуем,
я к ней прильнул, и вот танцуем:
она безмолвна и строга,
лицом сверкает недвижимым,
и поддается под нажимом
ноги упругая нога.
Послушны грохоту и стону
ступают пары по газону,
и серпантин со всех сторон.
То плачет в голос саксофон,
то молоточки и трещотки,
то восклицание цимбал,
то длинный шаг, то шаг короткий,—
и ночь любуется на бал.
59
Живой душой не правит мода,
но иногда моя свобода
случайно с нею совпадет:
мне мил фокстрот, простой и нежный…
Иной мыслитель неизбежно
симптомы века в нем найдет,—
разврат под музыку бедлама;
иная пишущая дама
или копеечный пиит
о прежних танцах возопит;
но для меня, скажу открыто,
особой прелести в том нет,
что грубоватый и немытый
маркиз танцует менуэт.
60
Оркестр умолк. Под колоннаду
мы с ней прошли, и лимонаду
она глотнула, лепеча.
Потом мы сели на ступени.
Смотрю: смешные наши тени
плечом касаются плеча.
«Я завтра еду, Виолета».
И было выговорить это
так просто… Бровь подняв, она
мне улыбнулась, и ясна
была улыбка: «После бала
легко все поезда проспать».
И снова музыка стонала,
и танцевали мы опять.
61
Прервись, прервись, мой бал прощальный!
Пока роняет ветер бальный
цветные ленты на газон
и апельсиновые корки,—
должно быть, где-нибудь в каморке
старушка спит, и мирен сон.
К ней пятна лунные прильнули;
чернеет платьице на стуле,
чернеет шляпка на крюке;
будильник с искрой в куполке
прилежно тикает; под шкапом
мышь пошуршит и шуркнет прочь;
и в тишине смиренным храпом
исходит нищенская ночь.
62
Моя старушка в полдень ровно
меня проводит. Я любовно
ракету в раму завинтил,
нажал на чемодан коленом,
захлопнул. По углам, по стенам
душой и взглядом побродил:
да, взято все… Прощай, берлога!
Стоит старушка у порога…
Мотора громовая дрожь,—
колеса тронулись… Ну что ж,
еще один уехал… Свежий
сюда вселится в октябре,—
и разговоры будут те же,
и тот же мусор на ковре…
63
И это все. Довольно, звуки,
довольно, муза. До разлуки
прошу я только вот о чем:
летя, как ласточка, то ниже,
то в вышине, найди, найди же
простое слово в мире сем,
всегда понять тебя готовом;
и да не будет этим словом
ни моль бичуема, ни ржа [6];
мгновеньем всяким дорожа,
благослови его движенье,
ему застыть не повели;
почувствуй нежное вращенье
чуть накренившейся земли.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
[1] Муза эпических поэм, старшая из муз.
[2] Violet — фиалка (англ.).
[3] Английская королева 1819—1901
[4] Сюзанна Ленглен (1899— 1938) — знаменитая теннисистка.
[5] Изображение на английских банкнотах.
[6] Евангелист Матфей обозначил словами «моль» и «ржа» земное, преходящее.***